

Накинув на голову старую шубейку, пошатываясь, Ванька вышел из бани. Хрустя по промерзшему сугробу, направился к избе. Оббив валенки о приступок, устало вошел в дом и рухнул на кровать.

– Упарился, сынок? – ласково спросила Матрена. – Воды еще много осталась?

– Полно, – млея от блаженства, прикрыл глаза раскрасневшийся Ванька.

– Федь, дойди до Абрама. Пусть помоеется, – попросила мужа Матрена.

– Сейчас, – наскоро накинул полушубок Федор.

В сибирское село, Титовка, Абрам пришел прошлой осенью. Пришел один. С собой имел лишь дорожную суму да сапожный инструмент. Сельсовет заселил его в старенький саман и направил в колхоз шорником.

Саман, несмотря на свою обветшалость, был вполне пригоден для жилья. Недостатком было лишь то, что он сиротливо стоял на усадьбе, заросшей метровой полынью. Его прежние жильцы, съезжая в город, разо-

брали все деревянные пристройки, не забыв про ограду. Но деревенский народ тем и хорош, что отличался своей простотой. Не успел Абрам протопить печь, как сердобольные сельчане стали оказывать ему свою помощь. Хоть помощь была и не ахти какой, но и принесенный в дар чугунок или ведро были в хозяйстве великой ценностью. Зная о его бытовых трудностях, соседи не забывали о нем. Топя по субботам бани, грели воду и на Абрама. Без лишних расспросов, люди догадывались о причинах его одиночества и с жалостью относились к нему.

– Позвал? – спросила хозяйка вошедшего Федора.

– В бане уж. Достань нам чуток. Я его к нам пригласил, пусть посидит, обсохнет после баньки.

Скрипнув крышкой закрома в кладовке, Матрена занесла запотевшую бутылку с мутным самогоном. Гремя рогачом, поставила на стол чугун вареной картошки. Федор достал из шкафчика два граненых стакана.

Охая и тяжело дыша, бледный Абрам в исподнем ввалился в дом.

– Ох, и жарко! Вот срамота-то какая, не смог даже одеться, – стесняясь, оправдывался он с порога.

– С легким паром! – воссиял довольный Федор.

Признание бани жаркой в Сибири испокон считалось особой похвалой.

– Спасибо вам, люди добрые, – поблагодарил Абрам.

– Присаживайся, браток, отдохнись, – заботливо хлопнул по лавке у стола хозяин. – Так говоришь, жарко? Это разве жарко. Первый жар, вот это да! – разливая самогон по стаканам, знающие заметил Федор. – Батя мой, с братьями, по три веника исхлестывали до голяка, а потом в снегу катаются и опять на полок. Помню, как-то раз наказал он мне баньку натопить. Я дров и воды наносил, подтопил «каменку». Летом дело было, жара стояла, друзья на пруд идут, меня зовут. Я водичку пальцем пощупал – кипяток! Дровишек подкинул, и с ними. Вечером прихожу, а батя меня с голиком встречает. – «Спасибо, сынок, натопил батьке баньку, – говорит. – Я, мать твою, в твоей бане чуть не замерз!» – и голяком меня, голяком! Так отпарил, что я до сих пор помню.

– Наш народ в Белоруссии бани до жару не топят, мы не паримся, – вытерся пошедший краской Абрам.

– Ну, давай, за здравице! – поднял стакан хозяин.

Крякнув от удовольствия, соседи опустошили стаканы.

– Вот ведь, банька, штука какая, – вынув из чугунка картошку, рассуждал Федор. – Попаришься, помоешься и будто душу свою очистил. Так ты, говоришь, с Белоруссии? – сдирая кожуру, перевел он тему.

– До войны с семьей жили там. Деревня Дашки, – начал свой рассказ охмелевший Абрам.

Матрена, предвкушая большой интерес, быстренько подтащила стул к столу. Прожевав картофелину, Абрам продолжил:

– Меня, значит, мил человек, в первые дни войны призвали. Наскоро забирали. Немец уже к Минску подходил. Не успел даже толком с женой попрощаться, детишек поцеловать. Двое их у меня, сын да дочка. Привезли нас в 64-тую дивизию. Строевых сразу на передовую, а нас в резерв штаба. На следующий день вызывает меня начальник тыла: «Шихович, конскую упряжку чинить сможешь?» Я ему: «Шутить изволите, товарищ майор? Давайте я вам лучше сапожки сошью, во всей армии такие не сыщете!» Тот посмотрел на меня, ухмыльнулся и говорит: «Сапожки после войны шить будешь, а сейчас дуй бегом в обоз. Поступаешь в распоряжение старшего лейтенанта Михейкина. Только о сапожках шибко не распространяйся. Мне хомуты во как нужны!» – и, отставив большой палец, чиркнул им себя по горлу. Сколько я потом этих хомутов перешил, Господь, и тот, наверно, со счета сбился! Вот так, значит, мил человек, я в обозе оказался, с ним и всю войну прошел. Брали мы Вену, Будапешт, медали за это имею. Победу на Рейне встретили. Ночью слышу, пальба пошла, крики, все ликуют! Верись, нет, я, мил человек, от счастья плакал, хоть и не выпало мне в окопе побывать. Радовался тогда и не знал, какое мне горе предстоит испить, – помрачнев, прервал рассказ сосед.

– Глотни чуток, – сочувственно предложил Федор.

– Нестроевых... – сделав глоток, сморщился Абрам, – держать не

стали. С первой же партией уволили. А перед увольнением вызвали в полк, попрощаться. Привел нас в штаб лейтенант, построил. Вышел командир полка, с ним штабные. Поблагодарил полковник нас за службу и ордена Красной Звезды вручил. А мы ведь все из тыловой службы были, оружия даже в руках не держали. Но, мил человек, не осуждай меня за это, не сам я себя награждал. Ведь ордена эти перед победой коробками возили. Видать, штабным проще было их раздать, чем назад отправлять.

Еду, значит, мил человек, домой, обмундирование на мне офицерское, сапожки хромовые, сам шил. А на гимнастерке орден и три медали блестят, – бросил взгляд на грудь Абрам. – Гордость меня такая обуяла. Мысленно представляю, как ахнет моя Сара, как кинется ко мне, как обниму я ее и детишек.

До Минска с ребятами эшелоном доехал, на перроне попрощались, я чемодан в руку и на попутку. От Минска, значит, мил человек, до Дашков верст двадцать, не больше. Иду по перрону, вижу, а у центральных ворот рынок образовался. Кто чем торгует. Походил, присмотрелся. Хоть и не с пустыми руками ехал, но понравился мне платок, наш, белорусский, яркий такой. Купил я его Розочке своей, триста рублей отдал. Ну а детишкам – кулек сладости. За ворота вышел, гляжу – полуторки стоят. А чуть поодаль шоферня кучкой курит. Я к ним. «До Дашков, – говорю, – довезете?» Один в кожанке обернулся, блеснул фиксой: «До Дашков нет, а до развилки подброшу. Думай быстрее, через пять минут едем. Сто рублей. Вон моя машина стоит», – и рукой указал. А что там думать, от раз-

вилки до нашего села верст пять, не больше. Я к машине, там уж человек пятнадцать сидело. Залез в кузов, присел на лавочку у борта, а с другого бока старушка сидит. Тронулись, едем, значит, а старушонка все ко мне приглядывается. Потом спрашивает: «Ты, служивый, не с Дашков ли будешь?» – «С Дашков, бабушка, – говорю ей. – Отвоевался вот, к семье вот еду». – «А в Дашках, до войны, не ты ли сапожничал?» – снова интересуется бабуля. – «Было дело. Абрам Шихович я, хата наша на отшибе у леса сразу». Старушонка после слов моих ахнула и рот ладошкой прикрыла.

Веришь, мил человек, сердце тут мое оборвалось. Затрясло меня лихоманкой. Я к ней: «Что случилось, рассказывай, бабушка?!» А она со слезой: «Побил, солдатик, немец твою семью. Детишки лишь успели сбежать. По слуху, на хуторе у Миколы Боровика прятались. Где они сейчас, живы или нет, никто не знает».

Вот так, значит, мил человек, разом рушится счастье! Ехал я, значит, к семье, а приехал в пустой дом, – глухо всхлипнул Абрам.

В деревню не заходил. Ночь провел в своем осиротевшем доме, а как только солнце взошло, пошел жену искать. Нашел. В яру, за околицей, холм, а на нем плита с именами расстрелянных евреев. Отыскал глазами Розу свою, вынул платок, что в дар ей вез, и на холм положил. Постоял, погоревал слезой да на хутор отправился, детей искать. На хутор пришел, а там головешки одни. Чуть поодаль от них пять крестов под сосной стоят. Ноги у меня, мил человек, так и подкосились. Кое-как дошел я до Дашков, а там уж рассказали мне, что донес кто-то на Миколу

Боровика. Каратели за то, что прятал евреев, повесили его на осине и, расстреляв жену с детишками, сожгли хутор. Но по словам очевидцев, хоронивших хуторян, детей моих среди них не было, — сглотив солёный ком, стих Абрам.

— Так, может, детишки-то живы! — блестя слезой, нарушила тишину молчавшая Матрена. — Искать надо.

— Я уж семь лет их ищу, сестра. Больше сотни детских домов объездил. Пока не нашёл.

— А может, они под другой фамилией?

— Нет. Дочке, Раечке, семь лет было, когда я уходил. Она хорошо знала свою фамилию.

— В семь лет, конечно же, запомнила отца и мать, — уверенно поддержал Федор.

— Снег сойдет, в Павлодар поеду, там в детских домах есть дети из Белоруссии.

— Дай Бог тебе найти детишек, — искренне пожелала хозяйка.

— Ну а как вы, мил человек, пережили войну? — помолчав немного, спросил Абрам.

— Мы? — поднял голову Федор. — Слава Богу, бомбежек не было. Хотя и без них у нас в деревне одни бабы да ребятишки остались. Нас пятеро братьев Шабановых воевало, а домой вернулись я да Колька. Младший братишка, Ванька, в семнадцать лет погиб в Сталинграде. Мамка через это платок не снимает, белой стала. А мне, бывает, приснится и мальчонкой, представить взрослым не могу. Я ведь, браток, его последний раз на своих проводах видел. По осени сорок второго, правда, могли бы с ним встретиться, но разминулись. Он за день до моего возвращения на фронт ушел.

Я ведь, браток, службу начал с тридцать седьмого, стрелком в 150-той дивизии. В мае сорокового, после Финской, обещали демобилизовать. Да какой там! В Бессарабию направили.

Перед самой войной вызвал меня начальник дивизионной разведки. Предложил к ним перейти. Я согласился.

Войну встретил в Молдавии. В начале отступали со всеми, но бывало, и к немцу ходили. Ребята опытные подобрались. Удачно обходилось, почти без потерь. Весной сорок второго фриц недалеко от фронта аэродром соорудил и достал дивизию своей бомбежкой. По данным штаба, он находился где-то в районе деревни Ольховка. На его поиск снарядили нас семерых. Фронт прошли тихо, за ночь подобрались к деревне. Отдохнули чуток и в поиск. Нашли. Километров восемь от Ольховки, в лесочке на поляне прятался. Наглед тогда немец, охраны почти никакой, две вышки, да по полосе часовой мотается. Мы почти к самолетам подобрались, слышно, как немчура у ангаров суетится, работает. Всего человек тридцать. Будь нас побольше, за десять минут от аэродрома бы ничего не оставили. Пересчитал командир их машины, марки записал, место на карту нанес и обратно.

Недалеко от линии фронта слышим разговор, по-ихнему говорят. Подползли, видим, на дороге легковушка с мотоциклетом стоят. Чуть поодаль, на обочине, офицер и трое солдат курят. Луна на небе яркая, они как на ладони. Нам бы уйти, да не сдержались, соблазн большой был. Оно и понятно, бывало такого момента часами, днями ждешь, а тут вот он.

Без шума, ножами положили солдат, офицера прикладом оглушили, связали. Убитых по-быстрому в машину скидали и в кусты, вместе с их «драндулетом». Но пока с ними копошились, забрезжило уже. Пересидеть бы, да тут немчура всполошилась. Обнаружили нас на нейтралке. Меня сразу же миной накрыло. Хорошо, ребята не бросили, вытащили. Сам-то я лишь на третьи сутки в санбате очнулся.

Полгода в госпиталях валялся. Осенью по инвалидности комиссовали. Домой ехать, а я голый: ни гимнастерки, ни обуви, все по дороге потеряли. Я ведь, браток, госпиталей пять сменил. Подобрал завхоз ватник рваный, форму латаную, ботинки, правда, хорошие дал, в том я и приехал. Злые языки сразу же сплетни распустили, что, мол, я с фронта сбежал. По их понятиям, какой я инвалид? Руки, ноги-то при мне. Два раза от обиды на фронт присился. Да какой

там! – в сердцах махнул рукой Федор. – До «краевой»\*и назад.

– Награды имеете? – поинтересовался Абрам.

– За отвагу, с «финской», с Отечественной пять железок. Два осколка мне с легким в полевом госпитале вырезали, три еще в теле сидят. Так что, браток, я хоть и не белорус, но в баньке тоже не парюсь. Порой хочется, зудит тело, а махну раза два веником, и мочи нет. Выдохся. Теперь вот для сынишки, Ваньки, баньку топлю. Ему хоть и девять лет, но парится он как мужик! – с гордой теплотой заметил хозяин. – Слушай, браток, а может, тебе осесть, оженится? Любая вдова будет рада.

– Спасибо, мил человек. Но куда детей не найду, жениться не стану.

– И то правда. Детишки, они наперво для любого, – согласился с ним Федор. – Ну, давай, браток, еще по одной! За детишек твоих, чтоб живы были!

---

\*Краевая медкомиссия.